

Владимир Гиляровский

Актер Вольский



*Часть сборника
Москва и москвичи (сборник)*



Москва и москвичи // Эксмо, М., 2008
ISBN: 978-5-699-11515-0
FB2: "shum29", 16.11.2008, version 1.0
UUID: 4f4fc198-0529-102c-99a2-0288a49f2f10
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Владимир Алексеевич Гиляровский

Актер Вольский

(Люди театра)

«Кто пишет о своем прошлом на девятом десятке бурно прожитых лет, тому это понятно.

Жаркий июльский день. Листок осины не шевельнется. Я сижу с тетрадкой и карандашом на моей любимой скамеечке в самом глухом углу «джунглей», над обрывом извилистого берега Москвы-реки...»

Владимир Гиляровский

Актер Вольский

*У былого с настоящим
Непрерывное слиянье...*

Кто пишет о своем прошлом на девятом десятке бурно прожитых лет, тому это понятно.

Жаркий июльский день. Листок осины не шевельнется. Я сижу с тетрадкой и карандашом на моей любимой скамеечке в самом глухом углу «джунглей», над обрывом извилистого берега Москвы-реки.

*А подо мною речные извилины,
Каменный берег с грозящими кру-
чами,
Гнездятся в зарослях совы да фи-
лины,
Дремлют в оврагах норами барсу-
чьими...*

Восьмое лето я сижу здесь до самой глубокой осени, отдыхая после шумной Москвы.

*Какая тишина! Как будто жизнь
забыта
В безлюдных дебрях, думы так
легки...
Лишь под землю взрывы динами-
та:*

*То белый камень рвут под бере-
гом реки...*

*Хованицина была здесь – и ко-
гда-то*

*Таились в зарослях раскольничьи
скиты...*

И теперь та же здесь глухомань, как и в те забытые времена.

Я еще не открывал тетрадки, не брал карандаша, образы и думы о прошлом так мелькают, что ни одну не поймаешь на этом чудном фоне ароматной зелени.

*Кругом орешник пышно вьется
Непроницаемой стеной,
И стадо за рекой пасется,
Рожок пастуший трелью льется
И повторяется рекой...*

Нарушил тишину Дружок. Он бешено промчался по лесу и бросился ко мне, в радостях, что отыскал меня. Удивительный пес – всех пород! Длинный, на коротких кривых ногах, как крокодил, – это значит, что среди предков была такса. Его толстый, поленом, но все-таки круто загнутый хвост указывает, что между предками водились и «надворные советни-

ки», а может быть, северные лайки. Морда огромная, зубастая – точь-в-точь волк. Своим неожиданным и громким появлением он разбил прекрасную тишину и перенес меня в действительность. Дружок улегся сзади меня и молотил хвостиком, выражая свою радость. Я обернулся, чтобы его погладить. Передо мной белеют на зеленом фоне «три сестры» – три стройные, еще не старые, выросшие из одного корня березы, которые я, в память Антоши Чехонте, назвал так три года назад.

Это уже реально и останавливает внимание... А тут еще Дружок: «помесь дворняжек с крокодилами», вспоминаются слова Чехова.

Но эти образы исчезли... Снова тишина... тишина... Только пробившись сквозь столетние вершины дубов и кленов, солнечный луч

*Заглянул полоской яркой
Под ореховые арки,
Где, темнея, зеленели
Их дремучие туннели...*

Уснул Дружок. Еще метлешится кое-что в тумане памяти, но что – разобрать не могу... Если бы кто-нибудь пришел и спросил, о чем я задумался, я, может быть, еще не упустил

бы из внимания Чехова, вспомнил бы пустой какой-нибудь фактик, зацепился бы за него – и пошли бы, пошли воспоминания...

Пошевелился Дружок. Я оглянулся. Он поднял голову, насторожил ухо, глядит в туннель орешника, с лаем исчезает в кустах и ныряет сквозь загородку в стремнину оврага. Я спешу за ним, иду по густой траве, спотыкаюсь в ямку (в прошлом году осенью свиньи разрыли полянки в лесу) и чувствую жестокую боль в ступне правой ноги.

Хромая, возвращаюсь на скамеечку. Несмотря на боль, вспоминаю рассказ И.Ф. Горбунова о ямщике. «Кажинный раз на эфтом самом месте!» – оправдывался он, вывалив барина.

* * *

«Кажинный раз на эфтом самом месте!» Именно в ступне. Как чуть оступишься – болит. А последние три года старость сказала – нога ноет, заменяя мне барометр, перед непогодой. Только три года, а ранее я не чувствовал никаких следов вывихов и переломов – все заросло, зажило, третий раз даже с разрывом сухожилий. Последнее было уже в

этом столетии в Москве.

Боль была настолько сильна, что и прелесть окружающего перестала существовать для меня. А идти домой не могу – надо успокоиться. Шорох в овраге – и из-под самой кручи передо мной вынырнул Дружок, язык высунул, с него каплет: собака потеет языком. Он ткнулся в мою больную ногу и растянулся на траве. Боль напомнила мне первый вывих ровно шестьдесят лет назад в задонских степях, когда табунщик-калмык, с железными руками, приговаривал успокоительно:

– Ничего, бачка, в воскресенье гуляй.

Он ловко вправил мне свернутую в сторону ступню и только пожалел, что сапог пришлось разрезать.

В воскресенье, через три дня, я действительно гулял, а через неделю совершенно забыл о ноге и только вспомнил о ней года через два в Тамбове, и об этом тамбовском случае вспомнилось сейчас, когда я смотрел на Дружка и на «трех сестер».

* * *

Выплывают, кружатся и исчезают в памяти: Вася Григорьев, Чехов, записывающий

«Каштанку» в свою записную книжку, мать Каштанки – Леберка, увеличившая в год моего поступления в театр пятью щенками собачьё население Тамбова, – несуразная Леберка, всех пород сразу, один из потомков которой, увековеченный Чеховым, стал артистом и на арене цирка и на сценах ярмарочных и уездных театров.

Леберка жила в то время со своими щенками в том самом темном подвальном коридоре театра, на который выходили двери комнаток, где жил В. Т. Островский и останавливались проезжие и проходящие актеры и куда выходила и моя каютка с пустыми ящиками из-под вина, моя постель в первые дни после приезда в Тамбов.

Леберка ютилась под лесенкой, откуда щенята расползались по коридору и взбирались на ступеньки. После спектакля, пробираясь ощупью домой, я отворил дверку в коридор и, уверенно ступая по знакомой лесенке из четырех ступеней, вдруг наступил на щенка. Визг. Испуганный лай Леберки и грохот моего падения произвели переполох. Островский, шатаясь, вышел на шум, а его поддерживал

извозчик без шапки, с сальной свечкой в руке и кнутом за поясом халата.

Островский, на мое счастье, был в периоде своего загула, когда ему требовались слушатели, которым он читал стихи, монологи, рассказывал о своих успехах. Днем такие слушатели находились. Он угощал их в отдельных комнатках трактиров, но, когда наступала ночь, нанимал извозчика по часам, лошадь ставилась на театральном дворе под навесом, а владелец ее зарабатывал по сорок копеек в час, сидя до рассвета в комнатке Василия Трофимовича за водкой и закуской, причем сам хозяин закусывал только изюмом или клюквой.

Это были последние дни загула, и только благодаря этому мне вовремя была подана помощь, а то невесть сколько пролежал бы я, так как нога не позволяла мне двигаться. В комнатах коридора в это время, кроме меня и В. Т. Островского, никто не жил. Пришли из ресторана буфетчик Пустовалов, Сережа Евстигнеев и Ваня Семилетов, который сейчас же убежал и привел фельдшера из пожарной команды... Опять операция, напомнившая

мне калмыка. Забинтовав ногу, меня уложили на мои ящики. Василий Трофимович отпустил извозчика и переселился с водкой и закуской ко мне.

Я слышал сквозь сон пьяные монологи Велizarия, Ричарда III и Жанны д'Арк, а потом крепко заснул и проснулся, когда уже светало, от холода.

В комнате я один, на столе пустая посуда, а из окна дует холодом и сыплет снег. Окно было разбито, стекла валялись на полу. Дворник стучал по раме, забивая окно доской. Оказалось, что свинья, случайно выпущенная из хлева извозчиком, выдавила боком мое окно.

Когда о происшествии узнал антрепренер Григорий Иванович Григорьев, он тотчас же спустился вниз и приказал Васе перевести меня в свою комнату, которая была вместе с библиотекой. Закулисный завсегдатай театра Эльснер, случайно узнав о моем падении, тотчас же привел полкового доктора, тоже страстного театрала, быстро уложившего ногу в лубок.

Я лежал и блаженствовал. Вася за мной ухаживал, как за братом, доставал мне книги

из шкафа, и я читал запоем. Старик Григорьев заходил по два раза в день, его пятнадцатилетняя дочка, красавица Надя, приносила печенье и варенье к чаю, жена его Анна Николаевна – обед.

И все это благодаря Леберке и ее пострадавшему щенку, может быть, даже Каштанке. Из-за него меня Григорьев перевел в свою комнату-библиотеку, из-за него, наконец, я впервые познакомился с Шекспиром, из-за него я прочел массу книг, в том числе «Гамлета», и в бессонную ночь вообразил его по-своему, а через неделю увидел его на сцене, и какого Гамлета!.. Это было самое сильное впечатление первого года моего пребывания на сцене.

* * *

Побывали у меня все. Целый день народ. Столик перед кроватью был завален конфетами: подарки актрис – драматической Микульской, инженеру Лебедевой, изящной Струковой и других.

В Струкову был, конечно, платонически и безнадежно, влюблен Вася, чего она не замечала. Уже десятки лет спустя я ее встретил в

Москве, где она жила после смерти своего мужа Свободина (Козиенко), умершего на сцене Александрийского театра в 1892 году. От него у нее был сын Миша Свободин, талантливый молодой поэт, московский студент, застрелившийся неожиданно для всех. Я его встречал по ночам в игорных залах Художественного кружка. Он втянулся в игру, и, как говорили, проигрыш был причиной его гибели.

А тогда Струкова была совсем молоденькой. Она только что начинала свою сценическую жизнь, и ее театральным обучением руководил Песоцкий, который в то время, когда я лежал, проходил с нею Офелию. Эта первая крупная роль удалась ей прекрасно.

Она сидела на моей кровати вместе с другими и все время, ни на кого не обращая внимания, мурлыкала чуть слышно арию Офелии. А Вася из уголка с дивана глядел на нее влюбленными глазами. Я только тут и узнал, что Вольский в свой бенефис ставит «Гамлета».

Я никогда не видал и не читал «Гамлета». Вася вынул из шкафа тоненькую, в потрепанном дешевом переплете печатную книжку,

всю исчерканную, и дал только до утра – утром первая репетиция. Я прочел с восторгом, как говорится, взасос, ночью раза три зажигал свечку и перечитывал некоторые места.

С Васей вечером я не успел поговорить о «Гамлете», не знал, в каких костюмах играть его будут, в какой обстановке.

Еще в гимназии я много перечитал рыцарских романов, начиная с «Айвенго», интересовался скандинавами и нарисовал себе в этом духе и «Гамлета», и двор короля, полудикого морского разбойника, украшавшего свой дворец звериными шкурами и драгоценностями, награбленными во время набегов на богатые города Средиземного моря.

Я не обратил внимания на описание дуэли Гамлета с Лаэртом, а только уж ночью, еще раз перечитав дуэль, удивился, что они дерутся на рапирах, а не на мечах.

Долго об этом думал, вспомнил «Трех мушкетеров» и, рисуя себе великана Портоса, решил, что по руке ему рапира тяжелая, а не те мышколки, на которых дерутся теперь на уроках фехтования. Значит, такая рапира бу-

дет и у Гамлета, ведь он просит себе рапиру потяжелее.

«Первый в Дании боец». Удалой морской разбойник, силач, хоть и учился за границей, а все такой же викинг, корсар... Так я решил.

* * *

Актер Ф. К. Вольский хоть и был ростом немного выше среднего, но вся его фигура, энергичная походка и каждое движение обнаруживали в нем большую силу и гимнастическую ловкость. Свежее строгое лицо с легким румянцем, выразительные серые глаза и переливной голос, то полный нежности, то неотразимо грозный, смотря по исполняемой роли.

Вольский получил высшее образование и пользовался, несмотря на свою молодость (ему было тридцать лет), полным уважением труппы. Он был прекрасным актером, и почему он не попал на императорскую сцену – непонятно. Его амплуа – первый любовник и герой.

Проснувшись на другой день около десяти утра, я издали увидел его в отворенную дверь и залюбовался им: «Да, это Гамлет... „Первый

в Дании боец“.

– Позвольте? – обратился он ко мне.

– Милости просим, Федор Каллистратович!

– Я на одну минуту... за книгой, репетиция начинается.

– Как мне жаль, что я не увижу вас в Гамлете...

– Почему же? Мы вас перенесем в первую кулису... Увидите, увидите, я устрою. Я хочу, чтобы вы видели меня в моей любимой роли. – Взял книгу и своими неслышными шагами вышел, потом повернулся ко мне и, мило улыбаясь, сказал: – Вы «Гамлета» увидите! – И так же неслышно исчез в глубине следующей комнаты.

* * *

Через три дня мне сняли гипс, забинтовали ногу и велели лежать, а еще через три дня меня транспортировали перед началом спектакля в оркестр, где устроили мне преудобнейшее сиденье рядом с «турецким барабаном».

Я видел «Гамлета» – и, если б не Вольский, разочаровался бы в постановке. Я ждал того, что надумал ночью. Я ждал – и вспомнились

мне строки Майкова:

*Ряд норманнов удалых,
Как в масках, шлемах пудовых,
С своей тяжелой алебардой.*

А тут что? Какие-то тонконогие испанцы в кружевах и чулочках с мышечолками сбоку. Расшаркиваются среди королевских палат с золочеными тонконогими, как и сами эти придворные, стульями и столиками, в первом акте, в шелковых чулочках и туфельках, гордо расхаживают зимой на открытой террасе...

Жалел я, что Офелию дали изящной и хрупкой институтке Струковой, а не Наталии Агафоновне Лебедевой из типа русских женщин, полных сил и энергии, из таких, о которых сказал Некрасов:

*Есть женщины в русских селе-
нях...*

Я представлял себе Офелию вроде Жанны д'Арк. И только один Гамлет – Ф. К. Вольский явился таким, каким я накануне представлял Гамлета по песне Офелии:

*В белых перьях, статный воин,
Первый в Дании боец...*

На нем не было белых перьев. Одет он был по традиции, как все Гамлеты одеваются, в некое подобие испанского костюма, только черное трико на ногах и черный колет, в опущении меха, что и очень красиво и пахнет севером. На голове опять-таки не испанский ток, а некоторое его подобие, с чуть заметной меховой опушкой, плотно облегающий голову до самых ушей, сдвинутый на затылок и придающий строгому лицу, напоминающему римского воина, открытое выражение смелости и непреклонности. Это был викинг, в испанском костюме, и шпага его была длиннее и шире шпаг придворных.

Как ярко подчеркивали его силу и непреклонность рыцарскую извивавшиеся в поклонах, в сиреневых чулочках на тонких ногах Розенкранц и Гильденштерн.

Вольский сам тоже подчеркивал это. В первом же акте я порадовался и сказал про себя: «Да, это Гамлет, какого я представлял себе тогда ночью».

Гамлет – Вольский в сопровождении двух приставленных к нему королем его друзей, Горацио и Марчелло, вышел на террасу, где

появлялась тень отца. Он одним взмахом накиннул на себя тяжелый плащ, который сразу красиво задрапировал его фигуру.

Только один Южин так красиво умел драпироваться в плащ и римскую тогу.

Горацио и Марчелло стали Гамлету поперек дороги:

Марчелло. Вы не пойдете, принц!

Гамлет. Руки прочь!

Горацио. Послушайте! Мы не пустим вас!

Гамлет. Судьба меня зовет и каждую малейшую жилку делает такой же мощной, как мышцы льва немейского. Пустите же...

Вольский расправил плащ, красиво повисший на левом плече, и правой рукой отстранил Горацио. Горацио играл Новосельский, родной брат Вольского, на голову выше его, а Марчелло – такой же высокий Никольский.

Гамлет. Все зовет! Пустите! Клянусь небом, я сделаю призраком того, кто станет удерживать! Прочь!

Гамлет-Вольский буквально отшвыривает двух рыцарей и величественно и смело идет к тени.

Это «первый в Дании боец», это сын короля-викинга, Гамлет, это – принц Датский.

* * *

Король и королева в смущенье встали с трона и поспешно ушли. За ними в суматохе кинулся весь двор. Сцена опустела. Гамлет, рядом с Горацио, стоял, откинув обе руки назад, слегка подавшись корпусом вперед: тигр, готовый ринуться на добычу. Он подвинул левую ногу, голова его ушла в плечи, и, когда толстяк-придворный последним торопливо исчез в кулисе, Гамлет, с середины сцены, одним могучим прыжком перелетел на подножие трона. Он выбросил руку вслед ушедшим. Его лица не было видно, но я чувствовал по застывшей на миг позе и стремительности прыжка его взгляд торжествующего победителя. Продолжалось ли это несколько секунд или несколько минут, но театр замер... не дышал.

Вдруг Гамлет-Вольский выпрямился, повернулся к Горацио, стоявшему почти на авансцене спиной к публике. Его глаза цвета серого моря от расширенных зрачков сверкали черными алмазами, блестели огнем побе-

ды... И громовым голосом, единственный раз во всей пьесе, он с торжествующей улыбкой бросил:

– Оленя ранили стрелой!

Был ли это клич победы или внезапной радости, как у Колумба, увидевшего новую землю, но театр обомлел. Когда же через минуту публика пришла в себя, грянули аплодисменты, перешедшие в грохот и дикий вой.

* * *

Я видел всех знаменитостей за полвека, я видел и слышал овации в самые торжественные моменты жизни сцены, но все это покрывалось для меня этими пережитыми минутами, может быть, потому, что я был тогда молод и весь жил театром.

* * *

Кончился тамбовский сезон. Почти все уехали в Москву на обычный великопостный съезд актеров для заключения контрактов с антрепренерами к предстоящим сезонам. Остались только друзья Григорьева да остался на неделю Вольский с семьей. Ему не надо было ехать в Москву: Григорьев уже пригласил его на следующую зиму; Вольского вооб-

ще приглашали телеграммами заранее.

Летние сезоны Вольский никогда не слу-
жил и, окончив зимний, ехал на весну и лето
к своему отцу, в его имение, занимался хозяй-
ством, охотился, готовил новые роли. Он
остался по просьбе губернаторши, чтоб участ-
вовать в воскресенье на второй неделе поста
в литературном вечере, который устраивался
в пользу какого-то приюта.

Литературный вечер был в губернатор-
ском доме. На правой стороне эстрады в зале,
ярко освещенном люстрами и настенными
бра, стоял буль-столик с двумя канделябрами
по двенадцати свечей в каждом, а для чтеца
был поставлен тяжелый старинный стул
красного дерева с бронзой, с невысокой спин-
кой.

Тамбовское дворянство наполнило зал. По-
мещики из своих имений съехались с семья-
ми. Шуршали шелка, звенели шпоры. Дамы в
закрытых платьях, мужчины в сюртуках: тан-
цев по случаю поста не было.

Вечер открыл чтением своей новой коме-
дии местный писатель-драматург Озноби-
шин. Фамилия Вольского стояла последней в

программе, что было сделано с его разрешения.

– А то после вас все боятся читать!

Читали. Пели. Публика иногда позевывала, все ждали Вольского. Появление его, в изящном черном сюртуке, было встречено дружными аплодисментами.

Вольский читал отрывки из Тургенева и на «бис» – монолог Чацкого, а публика продолжала аплодировать, хотя и видела, что артист устал. Прочел он наизусть «Тройку» Гоголя, что окончательно привело в восторг слушателей, аплодисментами не пускавших артиста со сцены. Чуть Вольский делал шаг назад, аплодисменты раздавались громче.

Вдруг из глубины зала, слева от сцены, слышался нежный, робкий, молящий голос:

– Гамлета! Быть или не быть!

Это, по-видимому, ответило желанию всех, и зал застонал:

– Быть или не быть!!! Гамлета!!! Гамлета!!!

Ознобишин, скрывший меня от публики перед началом вечера в артистической комнате, сам принес стул за левую кулису, на авансцену, и я ближе всех мог видеть лицо

Вольского. Он действительно устал, но при требовании Гамлета улыбнулся, подошел к столу, из хрустального графина налил воды и выпил. Публика аплодировала, приняв это за согласие.

Затем он двумя пальцами взял за ушко спинки тяжелый стул и, без всякого усилия приподняв его, красивым движением поставил перед собой, ближе к авансцене.

От восторга тамбовские помещики, сплошь охотники и лихие наездники, даже ногами затопали, но гудевший зал замер в один миг, когда Вольский вытянутыми руками облокотился на спинку стула и легким, почти незаметным наклоном головы, скорее своими ясными глазами цвета северного моря дал знать, что желание публики он исполнит. Артист слегка поднял голову и чуть повернул влево, вглубь, откуда раздался первый голос: «Гамлета! Быть или не быть!»

Его красивая, статная фигура, даже пальцы его белых рук замерли на красном фоне спинки стула. Он как-то застыл. Казалось, что глаза ничего не видят перед собой или видят то, что не видит никто, или недвижно ищут от-

вета невозможного.

– Быть или не быть? – спрашивает он у самого себя, еще не говоря этих слов. Но я читаю это в его глазах. Его лицо я видел в три четверти, как любят снимать некоторые лица фотографы. Прошло несколько секунд безмолвного напряжения. Я, по крайней мере, задержал дыхание – и это показалось мне долгим.

– Быть или не быть? – спрашивает он у самого себя. Красивые губы его чуть шевелятся.

И читает или, вернее, задает сам себе вопросы, сам отвечает на них, неподвижный, как прекрасный мраморный Аполлон, с шевелюрой Байрона, с неподвижными, как у статуи, глазами, застывшими в искании ответа невозможного... И я и вся публика также неподвижны, и также глаза всех ищут ответа: что дальше будет?... «Быть или не быть?» И с этим же неподвижным выражением он заканчивает монолог, со взглядом полного отчаяния, словами: «И мысль не переходит в дело». И умолкает.

А публика еще ждет. Он секунду, а может быть, полминуты глядит в одну и ту же точ-

ку – и вдруг глаза его, как серое северное море под прорвавшимся сквозь тучи лучом солнца, загораются черным алмазом, сверкают на миг мимолетной улыбкой зубы, и он, радостный и оживленный, склоняет голову. Но это уж не Гамлет, а полный жизни, прекрасный артист Вольский.

От рукоплесканий дрожит весь зал, и, уходя семь раз со сцены и семь раз возвращаясь на вызовы, раскланиваясь, он останавливает на миг свой взгляд в левой стороне зала, где минуту назад Гамлет искал ответа невозможного. Там сидели Струкова и Вася.

* * *

В продолжение десяти лет и долго после этого, в разные минуты жизни, даже во время русско-турецкой войны, в пластунских секретах, под самым носом неприятельского часового, мне грезился этот вечер, когда я в последний раз в моей жизни видел Вольского.

С тех пор я не видал его. Он как-то исчез из моих глаз: бросил ли он сцену или, как многие хорошие актеры, растаял в провинции – не знаю. Даже слухов о нем не было.

Я видел Росси, Поссарта, Южина, Ленского,

Качалова, видел всех лучших русских Гамлетов, видел Гамлетов – старых трагиков, громopodobно завывавших, видел и таких, о которых говорили, что они лезут из богадельни в акробаты:

*Уши врозь, дугою ноги,
И как будто стоя спит...*

И всегда мне грезился Вольский-Гамлет в черном сюртуке и вместе с тем

*В белых перьях, статный воин,
Первый в Дании боец.*

За полвека много я пересмотрел замечательных Гамлетов, но ни разу не видел настоящей Офелии, создания Шекспира, «сотканной из тончайшего эфира поэзии». Я понял Офелию после, много-много позднее, когда понял и Гамлета. И тогда только я вспомнил первую Офелию, неопытную еще артистку, изящную, тонкую, стройную мечтательницу – Струкову. В то время, когда я ее видел, она мне казалась неподходящей к обстановке грубых, полудиких норманнов, созданных моим воображением. Долго я думал так, много пересмотрел Офелий, наконец, понял, что на-

стоящей Офелией была та, семнадцатилетняя Струкова, с ее маленьким голоском и украшавшей ее неопытностью.